Павел Васильевич Анненков

Две зимы в провинции и деревне. С генваря 1849 по август 1851 года

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Две зимы в провинции и деревне» были задуманы мемуаристом как продолжение «Замечательного десятилетия». Однако продолжение мемуаров так и не было написано. Остались лишь наброски, которые Л.Н. Майков в предисловии к сборнику «П. В. Анненков и его друзья» назвал, довольно точно охарактеризовав их специфическое назначение, «памятными заметками». Мемуарист делал эти заметки для себя, рассматривая их, очевидно, в качестве заготовок для будущей большой работы.

В этих заметках для себя, заготовках для будущего мемуарного полотна Анненков гораздо откровеннее, чем остался бы, вероятно, в окончательно готовом для печати тексте. Конспект сохранил субъективные оценки Анненкова, которые скорее всего он убрал бы в процессе работы. Анненков здесь гораздо более «темпераментен», чем в «Замечательном десятилетии», например. Резка характеристика И. Панаева, который назван «большим вралем» и по отношению к которому употребляется даже слово «низость». Сурова и исторически несправедлива оценка деятельности Герцена и его хотя и «блестящего», но, считает нужным добавить Анненков, вместе с тем и «фальшивого ума».

- Павел Васильевич Анненков
-
- Примечания
-

Павел Васильевич Анненков
Две зимы в провинции и деревне. С генваря 1849 по август 1851 года

1849 год. По приезде из Парижа в октябре 1848 года {1} состояние Петербурга представляется необычайным: страх правительства перед революцией, террор внутри, предводимый самим страхом, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры без нужды и без границ, оставление только что возникшего крестьянского вопроса в стороне {2} , борьба между обскурантизмом и просвещением и ожидание войны {3} . Салтыков уже сидит в крепости за свою повесть {4} , пересмотр журналистики и писателей. На сцену выступает Бутурлин с ненавистью к слову, мысли и свободе, проповедью безграничного послушания, молчания, дисциплины {5} . Необычайные теории воспитания закладывают первые камни для тяжелого извращения умов, характеров и натур.

Я спешу с братом Федором в деревню, куда призывает меня страшно расстроенное положение дел и предполагаемый раздел имения с братом Александром, главным виновником этого положения благодаря картежной своей игре. Катерина Ивановна, поднявшая этот вопрос, должна сама явиться в Чирьково. Я рад убежать из Петербурга.

Новый год 1849 в деревне с Катериною Ивановною, Стрекаловым, братьями. Раздел. Страшные морозы. Набор только что кончился. Брат Федор уезжает после того. Иван вскоре за ним из Чирькова с Катериной Ивановной, которой предоставлено управление имением и которая уже возненавидела нашего дельного Адама. Александр остается в Чирькове до переезда в Скрябине, где будет строить дом {6} . Я уезжаю в Симбирск до весны. Адель Б., Лидия К., Татаринов. Терроризация достигла и провинции. Города и веси сами указывают, кого хватать из так называемых либералов; доносы развиваются до сумасшествия; общее подозрение всех к каждому и каждого ко всем. Анекдот о Михаиле Лонгинове, приезжавшем для закупки хлеба на военное ведомство, принятом за жандарма и подавшем повод вопросами обо мне подозревать, что и я в числе намеченных жертв. Между тем у лихоимцев, казнокрадов и наиболее грубых помещиков развивается патриотизм – ненависть к французам и Европе: «Мы их шапками закидаем!» – и родомонтада [1] , скрывающая плохо радость, что все досадные вопросы о крепостничестве и проч.

теперь похоронены. Отсюда и энтузиастическое настроение относительно правительства. Возникает царство грабежа и благонамеренности в размерах еще не бывалых. Я получаю эстафету из Москвы. Тучков А. А. приглашает меня приехать в Москву для крайне нужного дела. Это дело – устройство состояния Огарева, за которое взялись Грановский, Кетчер и другие {7} . К числу этого устройства принадлежало и то, чтобы одну дочь Тучкова выдать в законный брак… Выбор пал на меня. Я отказался. Подвернулся Сатин: его женили. Все это происходило при крайнем негодовании Грановского. Летом объезжаю заволжских помещиков, Григория Толстого, Ермолова и других, и посылаю первые «Провинциальные письма» в «Современник», где в первом нумере 1849 года напечатано было и мое «Обозрение литературы» {8} .

По зиме 1849 года приезжает в Симбирск новый губернатор, князь Черкасский; старый – Булдаков, известный по истории с Полторацким, был величественный распутник, обжора, тонкий человек, которого особенно боялись купцы: он на прогулках забирал у них вещи и остался должен после смерти всем – мясникам, магазинщикам, доктору, аптекам и проч.

В виде продолжения к летним прогулкам следует сказать о двухдневном плавании из Богородска до Симбирска в рыбачьей лодке в большом обществе с Толстым, Ермоловым, Чернявским, Постниковым и прочими. Характеристический анекдот у Ермолова, еще в деревне: какой-то Бахметев простодушно рассказывает, как были взяты из Москвы и увезены в крепость Корш (Евгений) и Грановский. Все это оказалось вздором, но важно, что слухи эти нарочно распускались как указание правительству на лица.

Осенью выезжаю из Петербурга через Скрябино, куда брат Александр переехал. Его трогательная просьба – не забывать. У нас между тем все доходы предоставлены Катерине Ивановне с тем, чтобы она выдавала по 150 р. каждому брату в месяц, а остальными покрывала долги; последствия были страшны. Вместо покрытия долгов, самонадеянная бабка не заплатила процентов в опекунский совет за два года, сделала еще новые долги и окончательно надела петлю на шею братьев и мою, да и на свою, ибо для удовольствия быть хозяйкою чужого добра заложила собственное имение, Хунту.

Проездом через Москву Садовский читает у В. П. Боткина первую комедию Александра Островского «Банкрут». Потрясающее ее действие {9} . Приезжаю в Петербург на квартиру брата Ивана, в новом строении конногвардейских казарм на Мойке, которые еще достраивались, когда в них уже

жило множество народа.

Зима 1849–1850 годов. Осень прошлого кончающегося года ознаменовалась наконец окончанием следствия над заговором Петрашевского, стоившим так много несчастий и страхов всему обществу, совершенно безвинному в нем {10} . Манифест об окончании следствия и приговор, постигший как самого Петрашевского и составителей будущей конституции вроде Спешнева и прочих, так и людей, читавших по его знаменитым пятницам только свои проекты освобождения крестьян, улучшения судопроизводства и заметки о настоящем внутреннем положении России, и даже людей, любивших его хорошие ужины по тем же пятницам, написан был Суковкиным, государственным секретарем. Удивительно, что в манифесте было известие, будто заговорщики, устроив тайное общество, сами назвали его обществом «превратных идей»; дело в том, что они назвали его обществом «передовых идей»; но на полях была сделана полемическая заметка: «превратных идей», – так оно вошло в манифест, о котором я узнал впервые в квартире очень испуганного Некрасова… Приговор был исполнен – с готовым батальоном для расстреляния, саванами для осужденных, рвом позади их и проч. на Семеновском плацу, – со всею обстановкой политической казни, измененною на известное помилование. Ф. Достоевский попал на пять лет в арестантские роты за распространение письма Белинского к Гоголю, писанного при мне в Зальцбрунне в 1847 году. Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты. Приговор состоялся под ужасом февральской революции, с которой начинается царство мрака в России, все увеличивавшееся до 1855 года. Так же точно, или еще счастливее, спасся Николай Милютин, тогдашний начальник отделения в хозяйственном департаменте: заговорщики назначили его в министры, но свидетельство о нем, по связям Милютина с Перовским и Киселевым {11} , было утаено или, как говорили, даже выкрадено известным И. Липранди, следователем, который на других выместил эту поблажку. Я видел одну из его жертв, помешавшегося в крепости азбучника Балас-Оглу, который никогда и очень боек не был {12} . Невинность этого вечернего посетителя Петрашевского была так ясна, что Леонтий Васильевич Дубельт, во время его сидения в крепости, сам взбирался на чердак в жилье его жены, чтоб оставить ей какое-либо пособие от себя. Террор был на всех пунктах общества. Ребиндер, впоследствии кяхтинский воевода (выдумавший сказку о близком отложении Сибири в 1855 году), затем попечителем Киевского округа и сенатором, бледный и расстроенный, говорил

о следствии по делу Петрашевского у Н. Тютчева. Впоследствии мне удалось где-то прочесть и рапорт императору следственной комиссии, как она открывала заговор. На вечера Петрашевского был пущен агент полиции Антонелли, записавший все, что там говорилось, и еще более; в самом доме другой агент открыл табачную лавочку и следил за всеми ходами и выходами и разговаривал с людьми; третий, имени которого не упомню, являлся в качестве новобранца и потом служил при «Русском вестнике» в типографии Каткова, и не подозревавшего, кого он держит у себя, и проч.

Так наступает 1850 год, в начале которого приезжает из-за границы И. С. Тургенев {13} . Около этого времени прибывает из Москвы и Евгений Корш, отставленный от «Московских ведомостей» за либеральную редакцию их. Он получает теперь место редактора «Полицейских ведомостей», благодаря еще только Фролову, зятю обер-полицеймейстера Галахова. У него-то я и знакомлюсь ближе с братьями Милютиными, Николаем и Владимиром, Арапетовым и партией петербургского прогресса {14} . У Кавелина живет тогда Егунов, поднявшийся было журнальною статьею о торговле древней Руси, но вскоре забитый и засмеянный изящными демократическими чиновниками за неуклюжесть, грубые вкусы и приемы с претензиями на фальшивое щегольство,

Я пишу от нечего делать «Провинциальные письма», и рассказ о Бубнове пользуется одобрением друзей {15} , но далее их круга не идет. Цензура действует с ожесточением почти диким. Крылов – цензор, например, употребляет весь ум на ослабление выражений писателя и обесцвечивание произведения, называя это «кровопусканием от удара» {16} , но цензуре в этом смысле еще далеко было до своих границ. В этот же год и в следующие печать наша видела установление цензуры различных ведомств, кроме настоящей, – финансовой, духовной, путей сообщения, театров, придворной, горной и проч., да кроме того и сверх того еще «негласный комитет» из трех членов, между которыми был, вместе с Анненковым, Гамалеем, и Модест Корф. Комитет следил за общим направлением и карал издателей и писателей за статьи, пропущенные всеми отделами цензуры. И литература, однако же, не умерла совсем, выдержала, не погибла окончательно под страшным гнетом, как случилось бы со всякою другою. Молодость взяла свое, и эта жизненная сила, сознаваемая и правительством, еще более раздражала его.

Кстати, анекдот. Несколько позднее этого времени, кажется в 1854 году, я встретил в фойе Михайловского театра Егора Петровича Ковалевского, тогда еще полковника, тоже

посаженного… на гауптвахту за какое-то самое невинное замечание о жестокости азиатских правительств или что-то подобное в своем «Путеводителе по суше и морям». Ковалевский расхаживал по зале именно с Анненковым – негласным – и остановился сказать мне несколько слов {17} . Негласный Анненков спросил его о моем имени и на его ответ, что это тоже Анненков, занимающийся литературой, Созия {18} мой сделал следующее любопытное замечание: «Скажите мне: зачем они тратят время на литературу? Ведь мы положили ничего не пропускать, из чего же им биться?»

Как и следовало ожидать при таком настроении, министерство народного просвещения первое изменено было в основаниях своих. Бутурлин, сам, как известно, писатель, оскорбленный критикою нашею (за свою «Историю Смутного времени»), является *человеком времени,* и не умри он вскоре после этой роковой эпохи, он приобрел бы огромное историческое имя как гаситель и, может быть, влияние, после которого не опомнились бы и два поколения сряду. Этот человек, представивший в выписках и записках все ужасы прошлой литературы нашей, критику Белинского и нового «Современника», говоривший наконец, что не будь евангелие так распространено, как теперь, то и его бы следовало запретить за демократический дух, им распространяемый, – пришел к заключению, что и девиз Уварова, который определял его деятельность как министра просвещения: «Православие, самодержавие, народность», есть просто-напросто революционная формула. Просвещенный и многоумствующий Сергей Строганов, под впечатлением старых обид от Уварова и недавней истории с переводом Флетчера, им дозволенным и Уваровым осужденным, пристал к Бутурлину. Весь аристократический либерализм Строганова, которым он так кичился, уступил жажде мщения и превратил свободного магната в нашептывателя, наговорщика и даже клеветника {19} . Так-то старая историческая закваска нашей аристократии тут тотчас же обнаружилась. Рассказывали в то время о сцене, которая будто бы происходила в кабинете царя, который желал сам выслушать обвинение и объяснения врагов. Сцена могла действительно быть эффектна, если правда, что Строганов обвинял администрацию и Уварова в насаждении повсеместном семян демократии, в стремлении уравнять все сословия через образование и в пропаганде беспутного либерализма с самых низших слоев общества через гимназии. Любопытно было бы посмотреть и на Уварова, доказывающего, что он всегда был рьяным абсолютистом и что требовал науки, укореняющей все тогда существовавшие порядки. Как бы то ни

было, но Уварова не стало, и место его занял совершенно юродивый Шихматов. а попечителем С.-Петербургского учебного округа сделалось просто невообразимое существо… Мусин-Пушкин. Этот уже ничего не видел, кроме непослушания; стихотворение, статья, лекция – все было непослушанием, как только было мало-мальски ново. Анекдотическая сторона его управления, так же как и распоряжения Шихматова, содержат изумительное богатство шутовства, которому потомство откажется верить. Крупными проявлениями всей этой администрации, ведомой негласным комитетом, Бутурлиным и множеством других лиц (даже Брунов, посланник, приехав в Петербург около этого времени, успел выразить ужас к печати и развитию русскому и говорил с государем о способах возможно скорее истребить эту начинающуюся язву в государстве), были, кроме цензуры, уничтожение университетских привилегий вроде выбора ректоров и совещаний факультетов; ограничение числа студентов положенною цифрой (300 человек для каждого университета, кроме Дерптского); закрытие кафедр логики и философии и передача их богословским кафедрам; преследование иностранных книгопродавцев и почти уничтожение умственной связи с Европой через иностранную цензуру; наконец насильное утверждение прав на образование только за дворянским званием и богатством, и в довершение – и уничтожение в гимназиях классического образования, введение самых узких программ для нравственных наук и водворение как в них, так и в корпусах обширной системы телесных наказаний. Несколько позднее Ив. Ив. Панаев видел графа Уварова, будучи введен к нему молодым графом, его сыном. Панаев рассказывал, что отставной министр, уже больной, слушал его повествование о всех проделках цензуры и новой администрации молча и только заметил: «Наше время особенно тем страшно, что из страха к нему, вероятно, никто не ведет записок о нем». Панаев был большой враль, но ничего не выдумывал: он только врал по канве, уже данной ему.

Около этого же времени привезли в Петербург А. А. Тучкова, Н Пл. Огарева, Н. М. Сатина, обвиняемых в коммунизме денежном и матримониальном и либерализме, а также… Илью Селиванова, по доносу пензенского губернатора тоже о его свободомыслии {20} . О боже! Первые трое умели заговорить своих следователей Третьего отделения, а последний, оробевший сильно, не подымал даже глаз на своих судей. В таком виде предстали они перед начальником Третьего отделения, графом Орловым. Сей весьма прозорливый муж, отпуская их «под присмотр полиции», так как никакого действительного проступка

не оказалось за ними, произнес, обращаясь к трем первым: «Вот вы, господа, можете смотреть мне прямо в глаза, потому что чистосердечно высказывали свои убеждения, а вот про вас, господин Селиванов, того сказать не могу: {21} совесть в вас должна быть нечиста, и прямо смотреть вы не можете» {22} .

Трудно себе представить, как тогда жили люди. Люди жили, словно притаившись. На улицах и повсюду царствовала полиция, официальная и просто любительская, да аппетиты к грабежу, нажитку, обогащению себя через государство и службу развились до неимоверности. Они даже поощрялись. Что тогда происходило под личиной добрых правил, беспорочного прохождения карьеры, начальнического достоинства! Три миллиона, украденные Политковским у инвалидов, можно сказать под носом у всех властей, составляли еще безделицу перед тем, что делали сановитые мужи вообще {23} . Они участвовали в приисках, страховых обществах, промышленных предприятиях даровыми паями и составляли их прикрытие во всех случаях мошенничества, директорских грабежах акционеров и проч. Никакое предприятие не могло состояться без приглашения в даровые участники вельмож времени, так как всякое, какого характера оно бы ни было, с ними могло надеяться на успех. Они высасывали свою долю из откупов, из тяжб по наследству, из государственных имуществ. О., например, заставил себе дать в Самарской губернии 100 000 десятин, 1500 рублей оброка, кажется, и это без переоценки на будущее время. Грабительство казны и особенно солдат и всего военного снаряда приняло к концу царствования римские размеры. Генерал Э. продал 40 лошадей из фронта по 4000 рублей за каждую своим и чужим офицерам, пополнив их ремонтными лошадьми, на которые казна отпускает 175 рублей {24} .

Молчание гробовое царствовало над всем этим миром преступлений, и, разумеется, на высших ступенях силились укрепить это молчание на веки вечные. И тогда уже мыслящим людям было очевидно, что при первом политическом толчке вся эта мерзость запустения, прикрытая ложным величием, блеском и легитимизмом, обнаружится и раскроет всю беспомощность молодого, здорового, но грабимого, отупляемого государства; однако ж никто не предвидел, что толчок явится так скоро и что итоги забывшемуся всесилию и насилию будут подведены еще на наших глазах. Мы сказали о молчании. Не довольно было и молчания. На счету полиции были и все те, которые молчали, а не пользовались мутной водой, которые не вмешивались ни во что и смотрели со стороны на происходящее. Их подстерегали на каждом шагу, предчувствуя врагов. Жить было крайне трудно.

Некоторые из нервных господ, вроде В. П. Боткина, который тогда переселился в Петербург как в более безопасное место (Москва была отдана графу Закревскому в безграничное пользование, и там происходили оргии высылок, взяток и проч.), почти что тронулись. Этот господин трепетал за каждый час существования…

Но будет о нем. В это время Ланская, по первому мужу Пушкина, делами которой по дружбе к семейству занимался брат Иван, пришла к мысли издать вновь сочинения Пушкина, имевшие только одно издание, 1837 года {25} . Она обратилась ко мне за советом и прислала на дом к нам два сундука его бумаг. При первом взгляде на бумаги я увидал, какие сокровища еще в них таятся, но мысль о принятии на себя труда издания мне тогда и в голову не приходила. Я только сообщил Ланской план, по которому, казалось мне, должно быть предпринято издание.

Зима 1850–1851 годов в провинции. С началом весны я отправился в деревню и, благодаря крайне печальному состоянию наших дел, пробыл в Чирькове и Симбирске не только лето, но и осень и всю зиму 1850–1851 годов, отвечая, как умел, на нужды и возникавшие отовсюду претензии кредиторов наших.

В Симбирске произошел тоже переворот, и общество было на ножах. Новый губернатор, князь Черкасский, явился с претензиями искоренять злоупотребления, взяточничество, крайнее крепостничество и тотчас же очутился во вражде с предводителем, коварным, мелким и злым человеком, за которым стояла огромная партия грубых помещиков, льстимая им; к ним присоединились старые, уже успокоившиеся греховодники из председателей палат и новые, еще добивавшиеся устроить себе почетный покой, пограбивши умненько и осторожно кого и что можно. Катавасия шла порядочная. и главным орудием интриги против губернатора, как и следовало, был остзеец-прокурор из правоведов, обнаруживший всю энергию, свойственную немцу, в ненависти и преследовании человека, мешавшего тихой и благополучной карьере для приличного мошенничества. На беду Черкасский был фантаст, но он оставил по себе добрую память одним желанием внести свет в эту клоаку, а потом созданием спуска шоссейного к Волге, существующего и теперь. Как водится у реформаторов, удачных и неудачных, Черкасский привез с собою на службу молодых людей – М. О. Трубникова, Н. Самарина, а в городе сблизился с партией либералов, то есть, собственно, с домом Татаринова Александра, Языковых и проч. Весь либерализм кружка этого состоял, однако ж, в том, что глава его, Татаринов, носил бороду, заставлял молодых людей вокруг себя насильно читать скучнейшие книги вроде «Политической

экономии» Смита, Сея, Бастиа, которые окончательно сбили их с толку, сопротивлялся попыткам безотчетного управления деньгами и делами дворянства со стороны предводителя, презирал чиновников, ненавидел молодцов, плохо образованных и литературой не занимающихся, да скучал страшно, до апатии, самозабвения и сумасшествия.

В это же время прогремел и манифест о войне с венгерцами за Австрию {26} . Никогда еще, может быть, не был принимаем так холодно манифест о войне у нас, как этот. Даже самое забитое и глубоко житейское отношение ко всему происходящему на свете не могло воздержаться от сомнения в пользе и славе этого пособия Австрии, а народ предчувствовал тут наборы рекрутские, не более. Даже рассчитанное на эффект восклицание манифеста «да не будет так!» обратилось в поговорку, порядком двусмысленную. Позднее гвардейский штаб-доктор Шеринг (фанатический гомеопат, между прочим) рассказывал мне, что сам слышал, как великий князь Михаил Павлович, не одобрявший войны, произнес во всеуслышание пророческие слова: «Мы впутались в чужое дело, – теперь нам надо ждать гостей уже к себе». Начало выступления войск к театру действий могло бы открыть глаза на то бедственное положение армии нашей, в которое ее поставили грабежи и бессилие администрации, но смотреть никто не хотел. На пути из западных губерний войско, на первых переходах, оставило за собою целые полки отсталых, ослабелых и обессиленных. Ужаснувшийся государь послал генерал-адъютанта Н. М. Ефимовича подбирать и формировать этих воинов, а вместе с тем и узнать причины такого бедствия… Ефимович (как сам говорил) только намекнул ему, ибо развивать мысль не предстояло надобности, что на стоянках у разоренных помещиков и бедствующих крестьян Литвы и Белоруссии солдаты, кроме пустых щей, и то не всегда, ничего не ели. Когда нужно было тронуться в путь с ранцами и ружьями на плечах, половина из них попадали, как дети.

Возвращаюсь к Симбирску. Здесь, когда в соборе, после архиерейского служения, протодиакон густейшим басом сам читал манифест, то в самом высоком месте его, в известном и вышеупомянутом «да не будет так!» – возле меня послышался громадный зевок, испущенный каким-то высоким и седым мужиком. Откуда ни возьмись подлетел к нему полицеймейстер, и между ними возник следующий, чисто этнографический разговор полушепотом; «Что ты, обезумел, что ли?» – «А что?» – «Да разве не слышишь: царский манифест читают, а ты рог дерешь?» – «Ой ли! А ведь я думал, что все еще обедня идет!»

Проведя зиму почти безвыходно в доме умной К.

и перекрещивающимися интригами и клеветами городских партий, весной я посетил деревню Татаринова, проехал к Аксакову и по возвращении в деревню принимал Пфеллер с дочерью и компаньонкой. В это время решено было между нами переселение части чирьковских крестьян в Васильевское. Дела не распутывались; хотя доход с имения и поступал к нам прямо в руки, но требования, запущенные прежде, уносили его, почти ничего не оставляя. Время было тяжелое. От братьев из Петербурга получено известие, что конная гвардия выступила в поход венгерский, причем брат Иван сделан командиром сводных эскадронов гвардейской кирасирской бригады, оставшихся в городе; во-вторых, что он намеревается приобресть у Ланской право на издание Пушкина (известие, поразившее меня громадностью задачи на достойное исполнение плана), и, в-третьих, что брат Федор, назначенный вторым комендантом в Москву еще в 1850 году, устроил себе квартиру в Кремле. Осенью через Скрябине я направился к нему в Москву, куда со своей стороны вскоре прибыл и брат Александр. Это было в августе 1851 года.

Осень 1851 года в Москве. Москва была в волнении. Император Николай приезжал, во-первых, для празднования двадцатипятилетия своего царствования (с августа 1826 года, а во-вторых, при этом случае открывал новую железную дорогу. Предварительно посланы были им, как предтечи появления и знамения будущей важности дороги, гвардейские пехотные баталионы и сводные эскадроны конной гвардии и кавалергардов, оставшиеся от петербургских войск, ушедших в венгерский поход. Последними командовал брат Иван, тогда полковник. Те и другие встречал сам губернатор Закревский на дебаркадере, купечество жертвовало для них разные угощения, дворяне не отставали, и один (фамилию забыл) стеклянный заводчик предложил на кавалерийскую бригаду сто или около того стаканов для питья. Закревский, направлявший все эти жертвы и поощрявший их, сделал любопытную заметку на бумаге, извещавшей об этом подвиге патриотизма: «Почему не на всю бригаду?» Заводчик, говорят, поспешил дополнить свою неосмотрительность. Вслед за войском явился весь двор и, по обыкновению, немецкие принцы, рассердившие даже Клейнмихеля (он сам это говорил), строителя дороги, аппетитом на станциях и нежеланием видеть на ней что-либо другое, кроме буфетов и славных придворных вин. В день приезда, вечером, на Кремлевской площади народу уже было множество. Я видел императора мрачным и усталым: он считал долгом побывать под всеми мостами и осматривать все насыпи и постройки дороги… На другой день загудели колокола, Кремль

затоплен был народом, на площади свершался парад войскам, мундиры горели; крики, музыка, барабаны смешались, и началась та страшная, бесплодная суета всех служащих и неслужащих, актеров и зрителей, в которой покойный император любил жить и которая казалась ему важным делом и принадлежностью величия и превосходства России над всем европейским миром.

Разумеется, я прежде всего очутился в кружке Грановского, Фролова, Кетчера, Кудрявцева, литераторов и ученых, живших под сенью и влиянием Московского университета. Они в это время еще не вполне понимали, как могла пройти брошюра Герцена, изданная в 1850 году, «Du developpement des idees revolutionnaires en Russie» [2] , не унеся кого-либо из них или всех вместе {27} . Дело в том, что правительство на этот раз было умеренно; первый страх потрясений прошел, и возобновлять опять истории осуждений en masse [3] , не было ни у кого охоты, особенно не было этой охоты – надо отдать ему справедливость – у графа Орлова. Николай Милютин рассказывал, что в разговоре с его дядей Киселевым Орлов упомянул о книге Герцена и прибавил: «Многих она выдала лучше всякого шпиона». – «Да кого же она могла выдать? – возразил Киселев. – Ведь она говорит только о мертвых». – «Э! – отвечал шеф жандармов. – Если бы мы захотели, то именно по мертвым-то до живых и добрались».

Что касается собственно до брошюры Герцена, то, за исключением остроумных и, по обыкновению, весьма живых характеристик исторических эпох и лиц, она в главной теме своей ничего не представляет, кроме отчаянного пустословия. Этою брошюрой Герцен, уже эмигрировавший, начинал кокетничать перед Европой, перед клубами и либералами, не известною им землей, своею ролью в ней, своими приятелями, таинственными элементами, в ней бродящими, из которых маленький экземпляр «мы есмы». Впоследствии эта тенденция развилась до лжи и фальши непостижимых, а затем, когда сама жизнь ясно обнаружила пустоту гипотезы и лучшие головы не захотели поддерживать ее деятельностью практическою, наступила для него пора слепого бешенства против всего, всех и, наконец, даже против национального чувства страны – до инстинктов самосохранения. Оставался народ: на того публицист и перенес воображаемые элементы революционерства, социализма, коммунизма. Это было покойнее; можно было делать себя представителем великих идей всесветного обновления, существующих в России без всяких опасений, без всякой оглядки: народ ведь не отвечает, народ молчит обыкновенно и в препирание с своими комментаторами никогда не входит. В самом деле, кому, кроме Герцена, блестящего и вместе

фальшивого ума, можно было принять партию Белинского, Грановского и других за революционеров в смысле европейском и все их требования и представления об облегчении страдающих классов, об уменьшении произвола, о водворении первых начал гражданской жизни, о распространении просвещения, умягчении нравов, искоренении суеверия и лицемерия, уважении к мысли, сближении с Европой и ее наукой – за монтаньярство, бабефство, товарищество с открывателями новых политических горизонтов? {28} Раздувая так скромные русские, благородные и глубоко симпатичные кружки, Герцен раздувал, естественно, самого себя, но он повредил тем, кого прославлял. С него в самой публике, а не в одних только официальных сферах, стали думать, что все лепечущее, так сказать, первые склады публичной жизни, все отвергающее только мрак, неистовства, распутства и грабежи сложившейся администрации – есть революция, катаклизм и анархия. Добро бы Герцен ограничился декабристами, – тех раздувать можно во все стороны, потому что они сами не знали, куда идут, откуда вышли и чего хотели, да никто и теперь этого не знает.

Они желали переворота – ну и всё тут. Думайте об этом, что хотите, думайте очень много и думайте очень мало: это будет дело темперамента вашего, а сами декабристы тут ни при чем.

Наиболее испугавшимся брошюры Герцена был опять В. Боткин. «Посмотрите, – говорил он мне в 1850 году шипящим голосом, – какой доносик написал Александр Иванович на своих приятелей». Он успокоился, однако же, не видя преследований, и круг несколько времени, до очень близкого распадения своего, продолжал еще существовать, оставаясь только под надзором полиции; особенно Грановский, как узнали после из признаний губернаторских чиновников, окружен был усиленным соглядатайством. Ждали первого легкомысленного шага и не дождались: все было серьезно, важно и строго в нем, хоть тресни, а за принципы его ухватиться, пожалуй, и можно бы, да совестно перед историей, надуть которую, между прочим, весьма желали все, без исключения, господа, делавшие ее в нашей земле.

Не лучше было положение и славянофилов. Герцен и их зачислил в свою когорту российских революционеров, что должно было оправдать отчасти Третье отделение в его собственных глазах за нелепый арест Чижова и Ив. Аксакова в 1847 году {29} Удивительное свойство нелепости вообще: она может свести, как братьев, людей совершенно противоположных по характеру, взглядам и убеждениям, – Герцена, например, с гениальным сыщиком И. Липранди. В эпоху сильнейшего преследования раскольников (1850–1855 годы) сей последний, орудовавший

этим гонением, подавал записку, в которой, исчисляя существующие у нас противоправительственные секты, присоединял к ним и секту славянофилов с Хомяковым, Киреевским и Аксаковыми и проч., прямо называя ее вдобавок естественным отродьем раскола. Я сам читал эту записку, так, как и записку И. С. Аксакова, которую он составлял по *вежливому приглашению* Дубельта в палатах Третьего отделения (на Фонтанке), где содержался под арестом. Записка Аксакова отличается… даже горячностью в защите принципа власти, никому не отдающей отчета, кроме бога и своей совести, объясняет симпатию славянофилов к славянским племенам вообще состоянием последних под игом немецких правительств, где они не могут развиваться так свободно, как под покровом русского исторического и мудрого автократизма, и наконец сберегает свои громы на утеснение низших классов особенными привилегиями высших сословий, что составляет даже оскорбление верховной власти, так как привилегия его, законно владеемая, должна исключать все прочие. Император Николай прочел весьма внимательно записку, ибо сделал на нее собственноручные заметки вроде того, что русскому патриоту не должно быть никакого дела до славян и чужих земель, что крепостное право явилось по *непростительной глупости* прежних правительств и т. п. Вообще и арест, как должно полагать, Чижова и Аксакова произошел от желания правительства узнать настоящие теории и взгляды партий, которые иначе от него ускользали. Это было приглашение на откровенность и исповедь, своего рода invitation a la valse [4] . Несмотря, однако же, на изворотливый тон Аксаковой записки, император таки подметил струю протеста, в ней невидимо просачивающуюся, потому что на докладе графа Орлова, свидетельствовавшего о благополучности документа, написал: «C\'est Ie ton qui fait la musique» [5] , со всем тем решил прекратить нелепые аресты, внешний предлог к которым дали путешествие Чижова по славянским землям и жалобы Австрии на возбуждение им и ему подобными ее подданных. Император выразил свое решение, написав, адресуясь к Орлову; «Призови, наставь, благослови и выпусти».

Как бы там ни было, но то достоверно, что администрация, в сущности, несколько побаивалась славянофилов, предполагая у них нравственную связь с самыми глубокими, затаенными стремлениями русского национального духа. Вот почему она весьма дорожила тем, чтоб в важных случаях эта партия публично заявляла свою восторженную преданность администрации. В настоящем случае она требовала от Погодина, чтоб он воспел торжество и празднование царственного юбилея. Проект такого

гимна, написанный Погодиным, занял, вероятно, целые ночи у Третьего отделения. Он все казался неполным, двухсмысленным, умалчивающим; он переправлялся, перемарывался, возвращался автору и снова переправлялся. Я видел рукопись, свидетельствующую о тяжелом, многострадательном ходе и испытании этого документа, который наконец появился на страницах «Москвитянина», где археологи и могут его изучать. Вместе с тем, благодаря заявленной ненависти партии к европейскому движению и заявленного ею благоговения к скромности и святости русского быта, она пользовалась в то время относительно большею свободой мнения, чем все другие, и могла иногда говорить о том, о чем кругом не позволялось и думать. Это не мешало, впрочем, и состоять под сильным полицейским надзором, потому что избежать сего надзора мыслящему человеку было так же трудно, как младенцу избежать самовольным образом крещения. Рука администрации опускалась на нее совершенно свободно при случае. Подтверждением служит арест Бодянского (кого, чего не арестовали!) {30} за напечатанное в «Чтениях Общества истории и древностей» «Описание России» Флетчера, которое он напечатал с разрешения попечителя, да посажение в крепость Юрия Самарина за рукописную статью о проделках остзейских немцев с русским, латышским и вообще туземным населением страны {31} . Вероятно, они оставят по себе записки их приключений, столь обычных в то время. Мне рассказывал потом Скрипицын, знаменитый директор департамента иностранных исповеданий, устроивший присоединение униатов, что, когда, по жалобе князя Суворова (тогдашнего рижского губернатора), Юрия Самарина вверзли в темницу за обнаружение канцелярских тайн (в рукописи-то!), последний ожидал суда, но вдруг недели через две является приказ явиться ему во дворец к государю. Самарин хотел побриться и почиститься, но комендант крепости генерал Набоков, весьма почтенный человек (по отзывам всех многочисленных жильцов крепости), помешал этому, желая, чтоб он представился государю в том плачевном виде, в каком застал его приказ… Государь принял Самарина в кабинете стоя и грозно спросил его, раскаивается ли он в своем поступке, а получив утвердительный ответ, обнял, поцеловал, посадил перед собою, возле стола, и трогательно увещевал его употреблять свои отличные способности на честную службу отечеству и на утешение своей почтенной фамилии. «Я сам отец, – говорил он, – и знаю, как могут отцы страдать за детей».

Так-то мы жили во время оно.

Между тем брат Иван привез с собою в Москву известие, что

дело издания Пушкина он порешил окончательно с Ланской, заключив с нею и формальное условие по этому поводу. Но издание, разумеется, очутилось на моих руках. Страх и сомнение в удаче обширного предприятия, на которое требовались, кроме нравственных сил, и большие денежные затраты, не покидал меня и в то время, когда уже, по разнесшейся вести о нем, я через Гоголя познакомился с Погодиным, а через Погодина с Бартеневым (П. Ив.), Нащокиным и другими лицами, имевшими биографические сведения о поэте. Вместе с тем я принялся за перечитку журналов 1817–1825 годов {32} .

Гоголь в это время жил у Толстого, на Никитском, кажется, бульваре, и тогда все еще готовил второй том «Мертвых душ». По крайней мере на мое замечание о нетерпении всей публики видеть завершенным наконец его жизненный и литературный подвиг вполне, он мне отвечал довольным и многозначительным голосом: «Да… вот попробуем!» Я нашел его гораздо более осторожным в мнениях после страшной бури, вызванной его «Перепиской», но все еще оптимистом в высшей степени и едва понятным для меня. Он почти ничего не знал или не хотел знать о происходящем вкруг него, как, например, о недавнем предложении Липранди послать его для осмотра всех частных библиотек по всей России, отклоненном с ужасом и негодованием самим правительством, а о ссылках и других мерах отзывался даже как о вещах, которые по мягкости исполнения были отчасти любезностями и милостями по отношению ко многим осужденным. Он также продолжал думать, что по отсутствию выдержки в русских характерах преследование печати и жизни не может долго длиться, и советовал литераторам и труженикам всякого рода пользоваться этим временем для тихого приготовления серьезных работ ко времени облегчения. Эту же мысль развивал он при мне и в 1849 году на вечере у Александра Комарова {33} . Тогда произошла довольно наивная сцена. Некрасов, присутствовавший тоже на нем, заметил: «Хорошо, Николай Васильевич, да ведь за все это время надо еще есть». Гоголь был опешен, устремил на него глаза и медленно произнес: «Да, вот это трудное обстоятельство». Вместо смысла современности, утерянного им за границей и последним своим развитием, оставалась у него, по-прежнему, артистическая восприимчивость в самом высшем градусе. Он взял с меня честное слово беречь рощи и леса в деревне и раз вечером предложил мне прогулку по городу, всю ее занял описанием Дамаска, чудных гор, его окружающих, бедуинов в старой библейской одежде, показывающихся у стен его (для разбойничества), и проч., а на вопрос мой: какова там жизнь

людей, отвечал почти с досадой: «Что жизнь! Не об ней там думается». Это была моя последняя беседа с чудною личностью, украсившею вместе с Белинским, Герценом, Грановским и другими мою молодость. Подходя к дому Толстого на возвратном пути и прощаясь с ним, я услыхал от него трогательную просьбу сберечь о нем доброе мнение и поратовать о том же между партией, «к которой принадлежите». С тех пор я уже его не видал, если не считать случайной встречи в Кремле после того. В четыре часа пополудни я ехал с братом-комендантом куда-то обедать, когда неожиданно повстречался с Гоголем, видимо направлявшимся в соборы к вечерне, на которую благовестили. Как бы желая отклонить всякое подозрение о цели своей дороги, он торопливо подошел к коляске и с находчивостью лукавого малоросса проговорил: «А я к вам шел, да, видно, не вовремя, прощайте». Бедный страдалец!

Все мои занятия по Пушкину и все знакомства прекратились по поводу тяжелой, опасной болезни – воспаления в кишках и кровавого поноса. А получил я эту болезнь в Архангельском, где нанимал дачу Грановский и где мы в складчину составили обед, украшенный по обыкновению фейерверком, который притащил с собою Пикулин {34} , таскающий фейерверки и теперь по вечерам, несмотря на свое параличное и полуумное состояние. После долгого и, конечно, не совсем скромного обеда я лег под деревом и проснулся только тогда, когда Пикулин чуть-чуть не зажег у меня под носом бурака. Следствием была четырехнедельная болезнь. В числе гостей пикника были Панаев, Владимир Милютин, уже тогда возненавидевшие второстепенных московских пророков, как они называли свиту Грановского, – Н. Щепкина, Фролова, живших тоже тут же на даче {35} . Панаев сыграл роль не совсем благовидную, когда в Архангельское приехал хозяин его, князь Юсупов. По великосветской низости, от которой всю свою жизнь он отстать не мог, хотя потом и писал пасквили на своих идолов, он заходил около Юсупова и стал загонять к нему Грановского. Грановский просто не пошел, а Фролов отвечал даже с презрением к ремеслу бескорыстного сводчика, принятому на себя редактором «Современника». Ненависть, конечно, не была упразднена или смягчена этим обстоятельством; она выразилась очень сильно в записках Панаева уже через восемь лет после Фролова, где бедный журналист, разоренный Некрасовым и окончательно сбитый с толку радикализмом Добролюбова и Чернышевского, сам рассказывает с замечательным отсутствием чувства самосохранения, как он подсматривал в щелку замка и подслушивал у кабинета Фролова из желания узнать, что он

делает там, запираясь ото всех на все дообеденное время. Светскость, конечно, оставшаяся неизвестною патронам журналиста!

И больной в кремлевской квартире коменданта я слышал весь гам и шум торжества, сосредоточенного в этой местности. Днем неслись передо мною кареты и коляски с пестрыми господами в перьях и золоте, с госпожами, разряженными в пух, стуча по мостовой; мелькали мундиры, ленты, аксельбанты в неописанной суете, которая на измученный организм производила род тяжелого кошмара. Квартира была почти всегда пуста, братья беспрестанно находились на службе. На воспаленные глаза болезненно действовала сама великолепная осень, стоявшая в то время на дворе. Ночью, в бессоннице, слышал я протяжные крики часовых, расставленных по всем углам. Тогда была роскошь на гауптвахты и часовых. С первыми лучами дня подымался опять весь чиновный и придворный люд, стонала земля, метались люди, производя что-то такое, что понять было трудно тогда усталому моему мозгу. Помню хорошо только две сцены. Проезжал мимо моих окон император, с кем-то из генерал-губернаторов, провожаемый неистовыми кликами толпы. На подножке его коляски стоял ободранный мужичок и, несмотря на повелительные жесты императора, видимо не хотел покинуть места, держался одною рукою за откинутый верх коляски, а другою все крестился, все крестился, пуча глаза и раскрывая рот. В другой раз рано утром прискакало троек шесть или семь и остановились у подъезда ордонансгауза. В каждой тележке сидело по одному жандарму и по одному поляку. Помню одного молодого человека, с длинными волосами, озиравшегося кругом с выражением сильного любопытства, между тем как жандарм его рысью побежал в канцелярию, вероятно расписаться в прибытии. Тележки простояли минут десять около подъезда и тотчас ускакали далее.

Выздоровев в октябре месяце, я вместе с братом Федором, получившим отпуск, уехал в Петербург в мальпосте. Москва уже опустела и опять затихла.

Зима 1851–1852 года в Петербурге. Я пишу свои воспоминания на память, не справляясь с книгами и документами. Теперь уже прошло много времени, и некоторые второстепенные подробности, может быть, стоят у меня несколько прежде или несколько позднее, чем в самом деле случилось, но главные и общий характер годов этих сохранены в точности записками.

Тургенев, приехавший на осень из деревни, останавливается в Малой Морской, в квартире госпожи Дюме, откуда его и взяли на

съезжую {36} . Человек этот выработывал себе нравственный характер с чрезвычайным трудом. Он явился из Парижа такой амальгамой любезнейших качеств души и ума с ребяческими пороками – лжи, кокетничанья собою и вранья при всяком случае, что не давал возможности остановиться на себе с определенным чувством и определенным суждением. Мы были тогда далеко не друзьями; одно время он даже положительно возымел отвращение ко мне, благодаря моей нескрываемой подозрительности к каждому его слову и движению и особенно к тем, которым он хотел придать вид искренности и увлечения. Я был груб и не прав перед ним; он мстил мне насмешками и эпиграммами, что было только неприятно по радости, которую доставляло общим противникам нашим. Только после многих годов сменяющегося благорасположения и холодности мы поняли, что есть какая-то непреодолимая связь, мешающая нам разойтись хладнокровно в разные стороны. Так или иначе, всякий раз мы возвращались друг к другу с заметной радостью, чтоб опять начать старую историю горького высматривания истин друг друга, пока года и успехи в свете и литературе не сделали его гораздо спокойнее относительно себя выставления, а у меня те же годы и жизненная усталость не отбили дерзкой, ничем не оправдываемой охоты к глумлению над людьми. Впрочем, ни он не освободился вполне от тайного индифферентизма, дозволяющего невинное предательство друзей при случае и потворство безобразию знакомых, почему-либо занимательных ему или нужных, ни я не освободился окончательно от наклонности считать пустяками чужую душу и относиться к ней с молодечеством. Такова исповедь: у обоих нас исправление идет медленно и вряд ли когда завершится.

Примечания

(Вариант из издания: П.В. Анненков Литературные воспоминания, Государственное издательство художественной литературы, М., 1960 г. Серия литературных мемуаров)

Этот документ является лишь планом или конспектом воспоминаний, но он настолько интересен и содержателен, что считаем возможным напечатать его в качестве приложения в настоящем издании. История этого документа, по-видимому, такова. Когда «Замечательное десятилетие» было уже вчерне закончено и отослано для прочтения М. М. Стасюлевичу и А. Н. Пыпину, Анненков, интересуясь их мнением о своих «Записках», писал 26 декабря 1877 г.: «Я хотел, по выслушании вашего мнения, еще продолжать их, так как переходная эпоха от 48 года до 58 года (вторая замечательная эпоха нашей литературы) мне хорошо была знакома *со всеми ее людьми* и со всеми ее ошибками, бунтами втихомолку и раздумьем, как выйти из болота, породившими движение шестидесятых годов, продолжающееся и доныне» (*Стасюлевич,* стр. 351). Очевидно, продолжение «Замечательного десятилетия» и было тогда же начато Анненковым, но дело не пошло дальше «памятных заметок».

Л. Н. Майков, готовя к изданию посмертный сборник *Анненков и его друзья* (1892), составленный из работ Анненкова, не вошедших в *Воспоминания и критические очерки.* И писем к нему Гоголя, Белинского, Герцена, Огарева и др., располагал рукописью этих «заметок». В предисловии к сборнику он писал: «В дополнение к этим письмам напечатаны: воспоминание П. В. Анненкова о его последней встрече с Гоголем, извлеченное из памятных заметок Павла Васильевича, которые еще не могут быть преданы печати…» (стр. VII). Очевидно, эти «памятные заметки» были набраны тогда же при подготовке сборника к печати, но Майкову удалось опубликовать из них лишь «Последнюю встречу с Н. В. Гоголем».

В дальнейшем Н. Лернер в книгах из библиотеки В. И. Саитова обнаружил в одном переплете с сборником *Анненков и его друзья* восемнадцать гранок набора, содержащих в цельном виде эти «памятные заметки». По свидетельству Н. Лернера, в кратком анонимном предисловии к ним значилось: «Этот очерк составляет лишь черновой набросок, а местами только план статьи, подлежащий обработке. Набросок относится к 1870-м годам» («Былое», 1922, № 18, стр. 3). Н. Лернер опубликовал в «Былом» эти заметки, опустив ранее напечатанную «Последнюю встречу с Н. В. Гоголем».

В настоящем издании «Две зимы в провинции и деревне» печатаются в сводной редакции, на основании печатных заявлений Л. Майкова и Н. Лернера, по тексту первых публикаций («Былое», 1922, № 18, стр. 4–18; *Анненков и его друзья,* стр. 515–516).

* * *

(Вариант из издания: П.В. Анненков Литературные воспоминания Изд-во «Художественная литература», М., 1983 г. Серия литературных мемуаров.)

Впервые – П. В. Анненков. Литературные воспоминания. <М.,> Гослитиздат, 1960, с. 529–548. Здесь опубликована так называемая «сводная редакция», объединившая отрывки, до того печатавшиеся раздельно: «Последняя встреча с Гоголем» – в кн.: Анненков и его друзья, с. 515–516, с подзаголовком «Из воспоминаний П. В. Анненкова о Москве осенью 1851 года»; остальной текст впервые – «Былое», 1922, № 18, с. 4–18, с названием «Две зимы в провинции и деревне».

«Две зимы в провинции и деревне» были задуманы мемуаристом как продолжение «Замечательного десятилетия». 26 декабря 1877 года Анненков сообщал Стасюлевичу о новом замысле, который будет осуществлен, если его записки о 40-х годах получат одобрение. «Я хотел, – пишет Анненков, – по выслушании Вашего мнения, еще продолжать их. так как переходная эпоха от 48 года до 58 года (вторая замечательная эпоха нашей литературы) мне хорошо была знакома со всеми ее людьми и со всеми ее ошибками, бунтами втихомолку и раздумьем, как выйти из болота, породившими движение шестидесятых годов, продолжающееся и доныне» (Стасюлевич, т. III, с. 351).

Однако, хотя Анненков после этого письма прожил еще десять лет, продолжение мемуаров так и не было написано. Остались лишь наброски, которые Л.Н. Майков в предисловии к сборнику «П. В. Анненков и его друзья» назвал, довольно точно охарактеризовав их специфическое назначение, «памятными заметками» (с. VII). Мемуарист делал эти заметки для себя, рассматривая их, очевидно, в качестве заготовок для будущей большой работы.

Публикуя отрывок о Гоголе, Л. Н. Майков объяснял, что остальные заметки в то время «еще не могут быть преданы печати» (с. VII). Вероятно, имелась в виду не столько литературная их необработанность, сколько цензурные препоны,

что и подтверждается дальнейшей историей публикации заметок. Н. О. Лернер среди книг известного библиофила В. И. Саитова обнаружил экземпляр сборника «П. В. Анненков и его друзья», в котором к основному и всем известному тексту были присоединены восемнадцать гранок набора. Они являлись полным текстом «памятных заметок». В анонимном предисловии сообщалось, что «этот очерк составляет лишь черновой набросок, а местами только план статьи, подлежащий обработке. Набросок относится к 1870-м годам» («Былое», 1922, № 18, с. 3). Так как отрывок о Гоголе уже был опубликован, Лернер в «Былом» печатает оставшиеся страницы, которые и увидели наконец свет через тридцать пять лет после смерти автора, уже при совершенно иных социальных условиях.

Свидетель революционных событий во Франции 1848 года, Анненков возвратился в Россию тогда, когда царское правительство, напуганное призраком революции, устанавливает в стране подлинный террор. Россия переживает эпоху, вошедшую в историю под названием «мрачного семилетия». Но и покидаемая Франция не внушала Анненкову надежд. Герцен в «Былом и думах» передает свой разговор с Анненковым перед разлукой.

«– Итак, решено, – спросил я Анненкова, прощаясь, – вы едете в конце недели?

– Решено.

– Жутко будет вам в России.

– Что делать, мне ехать необходимо, в Петербурге я не останусь, уеду в деревню. Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо, как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь» (Герцен, т. X, с. 231).

Тогда же Герцен в письме предупреждает московских друзей, чтобы они не слишком доверяли рассказам Анненкова о революционных событиях во Франции. 6 сентября 1848 года Герцен пишет об Анненкове: «Он стал па какую-то странную точку – безразличной и маленькой справедливости, которая не допускает до него большую истину» (Герцен, т. XXIII, с. 96). Глубокое замечание, характеризующее Анненкова не только в данном конкретном случае…

Хозяйственные дела действительно требовали личного присутствия Анненкова, и, вернувшись, он вскоре же уезжает в Симбирскую губернию, где Анненковым принадлежало несколько сел и деревень, в том числе село Чириково (Чирково тож), село Павловка, деревня Иевлево (см.: П. Мартынов. Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1903, с. 157–161). Вспоминая месяцы, проведенные и деревне, Анненков отмечает, что

«терроризация достигла и провинции». Доносы друг па друга, страх определяют жизнь и поведение.

Навещает Анненков Москву и Петербург. Обычная проницательность но изменяет мемуаристу. Говоря о приговоре участникам кружка Петрашевского, он замечает: «Приговор состоялся под ужасом февральской революции…»

Вместе с тем в этих заметках для себя, заготовках для будущего мемуарного полотна Анненков гораздо откровеннее, чем остался бы, вероятно, в окончательно готовом для печати тексте. Конспект сохранил субъективные оценки Анненкова, которые скорее всего он убрал бы в процессе работы. Анненков здесь гораздо более «темпераментен», чем в «Замечательном десятилетии», например. Резка характеристика И. Панаева, который назван «большим вралем» и по отношению к которому употребляется даже слово «низость». Сурова и исторически несправедлива оценка деятельности Герцена и его хотя и «блестящего», но, считает нужным добавить Анненков, вместе с тем и «фальшивого ума».

Анненков предупреждает, что пишет «свои воспоминания на память, не справляясь с книгами и документами». Зная манеру работы Анненкова, можно предполагать, что в дальнейшем, готовя рукопись к печати, он дополнил бы ее новыми фактами, тщательно проверив их. В отличие от многих других мемуаристов, Анненков обычно точен.

Он мог бы рассказать еще немало. Анненков действительно «всех знал». Даже наброски, которыми, в сущности, являются «Две зимы в провинции и деревне», чрезвычайно ценны и значимы для понимания того времени, о котором пишет мемуарист.

Сноски

1

Родомонтада (фр. rodomontade) – фанфаронство, хвастовство.

2

«О развитии революционных идей в России» (*франц.*)

3

в массе (*франц.*)

4

Буквально: приглашение на вальс (*франц.*)

5

Это тон, который делает музыку (*франц.*)

Комментарии

1

Анненков возвратился в Россию в конце сентября 1848 г

2

О «крестьянском вопросе», то есть робких подступах к отмене

крепостного права, обсуждавшихся секретным порядком в правительственных сферах в 1847 г., Анненков знал из писем Белинского к нему (см. *Белинский,* т. XII, стр. 436–439, 468).

3

Ожидание войны — в связи с намерением царя задушить военной силой революционное движение в странах Европы, в частности в Венгрии.

4

Специальный секретный «особый» комитет, созданный царем в конце февраля 1848 г. во главе с морским министром А. С. Меньшиковым для проверки упущений цензуры в периодической печати с целью искоренения «вредного направления» в литературе, обратил особое внимание на повесть М. Е. Салтыкова-Щедрина «Запутанное дело», напечатанную в марте этого года в «Отечественных записках». 21 апреля Салтыков был арестован и содержался сначала на адмиралтейской, а затем на арсенальской гауптвахте (см. С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, М. 1951, стр. 294). 27 апреля царь утвердил доклад следственной комиссии по его делу и приказал сослать писателя в Вятку.

5

Граф Бутурлин Д. П. (1790–1849) – действительный тайный советник, член государственного совета; с 1848 г. председатель секретного цензурного комитета с особыми полномочиями, созданного в целях пресечения вольномыслия; настаивал на закрытии университетов, был сторонником установления казарменного режима в учебных заведениях, сокращения программ, исключения философии из числа наук, преподаваемых в университетах.

6

Имена братьев Анненкова, Ивана и Федора, сравнительно часто встречаются в его переписке с друзьями – Боткиным, Белинским и др. И тот и другой занимали видные должности (Иван дослужился до генерал-адъютанта, Федор был в пятидесятых годах нижегородским губернатором) и живо интересовались литературными делами и знакомствами своего младшего брата.

Иван содействовал доступу П. В. Анненкова к рукописям Пушкина еще при жизни Белинского, в 1847 г. (см. *ЛН,* т. 56, стр. 191), а затем привлек его к изданию сочинений поэта, заключив для этой цели в 1852 г. контракт со своим однополчанином П. П. Ланским, женатым на вдове Пушкина.

Федор Анненков, будучи уже нижегородским губернатором, со своей стороны тоже «содействовал» этому делу – он помогал

брату «распространять» в 1855 г. его издание среди купцов, съехавшихся на нижегородскую ярмарку. «Признаюсь, – писал Е. И. Якушкин, встретивший тогда в Нижнем П. В. Анненкова сего «товаром», – официальные меры для сбыта изданий Пушкина мне очень не понравились, тем более что они не нравились и купцам» (см. «Декабристы на поселении», М. 1926, стр. 18).

О третьем брате Анненкова, Александре, сведения очень скудные. Известно только, что он нигде не служил, жил доходами с именья и вел разгульный образ жизни.

Катерина Ивановна – дальняя родственница Анненковых, компаньонка их отца в последние годы его жизни. *Стрекалов* — родственник по матери. *Адель Б.* – очевидно, Адель Николаевна Бекетова, впоследствии жена музыканта В. Н. Кашперова. *Лидия К.* – возможно, Лидия Никитишна Кашперова, сестра В. Н. Кашперова, жившего тогда в Симбирске и служившего чиновником особых поручений при губернаторе.

7

В кругу московских «друзей» Н. П. Огарева много говорилось по поводу его гражданского брака с Н. А. Тучковой и какой-то «темной истории» в связи с женитьбой Н. М. Сатина и фиктивной покупкой им имения Огарева. Эти слухи и пересказывает здесь Анненков. В действительности же речь шла о спасении Огарева от разорения в связи с иском, предъявленным к нему его первой женой, М. Л. Огаревой, у которой он просил развода для того, чтобы иметь возможность оформить официально брак с Н. А. Тучковой. Огарев, вместе с Тучковыми, приезжал в начале 1849 г. в Петербург хлопотать о разводе с М. Л. Огаревой. Хлопоты не привели ни к чему. Огарев и Тучковы уехали в Москву. Здесь 27 мая состоялась свадьба старшей дочери А. А. Тучкова, Елены Алексеевны, с Н. М. Сатиным. Огарев и Н. А. Тучкова уехали в Крым с целью бежать за границу (см. об этом в отрывке из воспоминаний Н. А. Тучковой – «Архив Огаревых», 1930, стр. 260–261, а также в письмах Огарева к Герцену в публикации Ю. Красовского – *ЛН,* т. 61, стр. 777–796).

8

«Письма из провинции» П. В. Анненкова печатались в Современнике» в 1849, 1850 и 1851 гг. и были затем переизданы автором в 1877 г. в отд. 1 *Воспоминаний и критических очерков* (см. отзыв Некрасова об этих «Письмах» в его письме к Анненкову от 30 сентября 1850 г. и во второй части «Обозрения русской литературы за 1850 г.» з № 2 «Современника» за 1851 г. – Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. X и XII, М. 1952).

В. П. Боткин писал Анненкову из Москвы 10 марта 1849 г. по поводу то «Заметок о русской литературе 1848 года»: «Статья

ваша обратила *на* себя внимание (в первом номере) и в Петербурге и в Москве, и об ней говорили, и даже я получал много раз вопросы о том, кто ее автор.

Наши московские друзья даже писали мне в Петербург, желая знать автора ее» (*Анненков и его друзья,* стр. 557).

9

Речь идет об одной из первых комедий А. Н. Островного, которая в первоначальном варианте называлась «Несостоятельный должник», в варианте, законченном к концу 1849 г. и широко читавшемся в Москве самим автором и его другом, актером Провом Садовским, – «Банкрут», в дальнейшем – «Свои люди – сочтемся».

10

Петрашевский Михаил Васильевич (1821–1866) – с середины сороковых годов организатор в Петербурге нелегальных кружков социалистического направления. В апреле 1849 г. Петрашевский со своими ближайшими единомышленниками, а также и многие, им сочувствующие и посещавшие их собрания, – так называемые «пятницы», были арестованы по обвинению «в организации общества, направленного к разрушению существующего государственного устройства». Осенью того же года следствие закончилось и многие из привлеченных (в том числе Ф. М. Достоевский) были приговорены к расстрелянию, инсценированному затем по всей форме, но замененному, в последнюю минуту, якобы по милости царя, разными сроками наказания.

О настроении в связи с этим в среде, с которой связан был Анненков, см. в «Воспоминаниях» А. Я. Панаевой (Гослитиздат, 1956, стр. 178–180).

11

Речь идет о Н. А. Милютине, племяннике министра государственных имуществ графа П. Д. Киселева, служившем под началом Л. А. Перовского, тогда министра внутренних дел. Анненков преувеличивает близость Николая Милютина к кругу Петрашевского.

12

Имеется в виду Баласогло Александр Пантелеймонович (род. 1813 – год смерти неизвестен) – петрашевец, поэт, автор учебного пособия по русскому языку. В 1849 г. был арестован, но освобожден от суда и сослан в Олонецкую губернию на службу под секретным надзором. Стихи Баласогло напечатаны в сб. «Поэты-петрашевцы», Л. 1940.

13

И. С. Тургенев вернулся в Россию в конце июня, некоторое

время жил в Петербурге, а затем уехал в Москву и далее к себе в деревню. И. С. Тургенев вернулся в Россию в конце июня, некоторое время жил в Петербурге, а затем уехал в Москву и далее к себе в деревню.

14

Партия петербургского прогресса — круг молодежи из служилой и высокопоставленной дворянской знати, интересовавшейся буржуазными политэкономическими учениями и мечтавшей «благоустроить» Россию посредством административных новшеств в европейском духе при сохранении самодержавия, дворянской собственности и сословного принципа. Девиз этой «партии» довольно точно выразил в дальнейшем К. Д. Кавелин, когда писал, что в России нет политического вопроса, а есть вопрос административный. К этой «партии» примыкали Н. А. Миль м, тогда директор хозяйственного департамента министерства внутренних дел, впоследствии видный бюрократ-либерал, один из деятелей крестьянской реформы; И. П. Арапетов, товарищ Герцена и Огарева по Московскому университету, в сороковые годы – чиновник, сторонник самодержавного «прогресса»; в годы реформы – член редакционной комиссии. К этому же кругу примыкали Е. Корш, Б. Чичерин.

Милютин Владимир Алексеевич – родной брат Н. А. Милютина, талантливый экономист и публицист буржуазно-просветительского направления, приятель критика Валерьяна Майкова и М. Е. Салтыкова-Щедрина.

15

Рассказ о Бубнове, пытливом симбирском мещанине, содержится в IV разделе «Писем из провинции» Анненкова (см. *Воспоминания и критические очерки,* отд. I, стр. 39–51).

16

Речь идет об А. Л. Крылове, который в те годы был цензором «Современника».

17

Имеется в виду Ковалевский Е. П. (1811–1868), бывший одно время директором азиатского департамента министерства иностранных дел; один из организаторов и первый председатель Общества вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым, то есть литературного фонда. Анненков близко знал Ковалевского (см. его статью-некролог о Ковалевском, опубликованную в 1868 г. и перепечатанную в отд. 1 *Воспоминаний и критических очерков*).

Негласный Анненков, Николай Николаевич – крупный царский чиновник, член «негласного» бутурлинского комитета,

учрежденного 2 апреля 1848 г. для высшего надзора за печатью.

18

Созия (Созий) – персонаж комедии Мольера «Амфитрион»(восходящей к одноименной комедии Плавта). Имя стало нарицательным и обозначает однофамильца.

19

См. о «ссоре» в верхах на почве состязания в реакционности, о чем и пишет здесь Анненков, довольно подробный и верный в основных чертах рассказ А. В. Никитенко в его «Дневнике», в записи от 7 декабря 1848 г. (А. В. Никитенко, Дневник, т. I, М. 1955, стр. 313–314). Отзвуки этой ссоры – в письме А. А. Чумикова к Герцену от 5 августа 1851 г. (см. *ЛН,* т. 62, стр. 718).

20

Лица, называемые Анненковым, были арестованы в феврале 1850 г. Формальным поводом к аресту послужил глупый донос дяди первой жены Огарева, в действительности же арест был связан с «делом» петрашевцев.

Сатин Н. М. – поэт и переводчик, в свое время был членом кружка Герцена и Огарева, путешествовал с последним за границей. В мае 1849 г. женился на старшей дочери А. А. Тучкова, Елене.

Селиванов Илья Васильевич – пензенский помещик, литератор, хорошо знавший помещичий быт, приятель В. П. Боткина, через которого и познакомился с Анненковым. Селиванов был в 1848 г. в Париже, встречался там с Герценом (имя его упоминается в переписке Герцена с московскими друзьями).

После двухмесячного ареста все эти лица были выпущены и отданы под надзор полиции, а Тучков, по приговору Николая I, лишен должности дворянского предводителя в Инсарском уезде и выслан из Пензенской губернии.

21

Как стало недавно известно, III отделение располагало тогда перлюстрированным письмом Селиванова, в котором он сочувственно описывал события французской революции 1848 г. (см. сообщение Б. П. Козьмина: «И. В. Селиванов и его письмо из революционной Франции 1848 г.» – *ЛН,* т. 67, стр. 572–587).

22

Надо отдать справедливость императору Николаю: приближенные его, пользовавшиеся минутой, требовали совершенно закрытия университетов, и против этого искушения он устоял, можно сказать, один из всех, так же точно, как он один не поддался соблазну к уничтожению общего образования, которое, по проекту г. П. О., очень хорошо было бы заменить

только специальным образованием инженеров, артиллеристов, судей, учителей для низших школ и т. д. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

23

О Политковском см.: А. В. Никитенко, Дневник, т. I, М. 1955, стр. 360, 361.

24

Но этот подвиг и другие, им подобные, были затемнены тем, что делалось позднее в арсеналах, по провиантскому ведомству, по заготовлению лазаретных принадлежностей, по штатам и проч. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

25

Судя по переписке Анненкова с братьями, опубликованной в извлечениях в т. 56 *ЛН,* планы об издании сочинений Пушкина возникли у него значительно раньше.

26

Манифест о войне с венгерцами — объявление о походе русской армии во главе с фельдмаршалом Паскевичем для подавления венгерского революционно-освободительного движения.

27

Брошюра Герцена «О развитии революционных идей в России», написанная по-русски в 1850 г. и впервые опубликованная в переводе на немецкий язык в 1851 г. Русский текст до нас не дошел. Анненков ссылается здесь, очевидно, на второе, французское издание работы (1851), напечатанное в Ницце.

28

Как видим, характеристика Герцена в «Памятных записках», предназначенных мемуаристом для себя, еще более откровенна в реакционном смысле, чем его высказывания о Герцене в печати, в соответствующих главах «Замечательного десятилетия».

29

Имеется в виду Чижов Ф. В., один из деятелей славянофильства, приятель Н. В. Гоголя. После ареста в 1847 г. под давлением австрийского правительства, обвинявшего Чижова в подстрекательстве славян в Далмации, Чижову было временно запрещено проживать в столицах. См. об аресте Чижова у А. В. Никитенко: Дневник, т. I, М. 1955, стр. 305–306. Арест И. Аксакова относится к более позднему времени (17–22 марта 1849 г.).

30

Арест О. М. Бодянского, в то время секретаря Общества истории и древностей российских, – удаление его в Казань по

настоянию Уварова в связи с напечатанном в первой книге «Чтений Общества» сочинения Джильза Флетчера «О государстве русском»,

31

Имеются в виду так называемые «Рижские письма» Ю. Ф. Самарина, опубликованные впоследствии в VII т. собрания его сочинений (1889). Об аресте Ю. Самарина и беседе царя с ним см. в «Дневнике» А. В. Никитенко, т. I, стр. 328–329.

32

К этому месту в публикации Н. Лернера была сноска: «Здесь следуют уже бывшие в печати (то есть в сборнике *Анненков и его друзья* воспоминания о встрече с Гоголем» («Былое», 1922, № 18, стр. 16).

33

Речь идет об Александре Александровиче Комарове, приятеле И. Панаева, Белинского, Некрасова. О свидании Гоголя с видными петербургскими литераторами На вечере у А, А. Комарова, о чем пишет и Анненков, существуют в литературе самые разноречивые сведения.

Но, очевидно, что это свидание не могло состояться ни в 1849, ни в 1847 гг., так как Гоголя в Петербурге тогда не было. И. Ямпольский в примечаниях к «Литературным воспоминаниям» И. И. Панаева справедливо указывает, что «этот эпизод относится к сентябрю – октябрю 1848 г.» (Гослитиздат, 1950, стр. 432). Подтверждение, что Гоголь встречался с Анненковым именно в сентябре 1848 г., имеется в письме Гоголя к А. С. Данилевскому от 24 сентября 1848 г. (*Гоголь,* т. XIV, стр. 87).

34

Никулин Павел Лукич – врач, родственник В. П. Боткина, близкий приятель Грановского и его круга. Будучи за границей в 1855 г., одним из первых русских посетил в Лондоне Герцена.

35

Щепкин, Николай Михайлович (1820–1886) – сын М. С. Щепкина, близко стоявший к тогдашним литературным кругам, впоследствии известный издатель. *Фролов* Николай Григорьевич (1812–1855) – приятель Грановского, географ, переводчик «Космоса» Гумбольдта, свой человек в кругу московских западников.

36

На съезжую 2-й Адмиралтейской части Тургенев был взят «по высочайшему повелению» 16/28 апреля 1852 г.